

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ НА РУБЕЖЕ XX – XXI вв.: ПРОБЛЕМЫ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

И. В. Побережников

Екатеринбург

ИСТОРИЗМ КАК КАТЕГОРИЯ ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ

Начнем с того, на что мы не претендуем. Во-первых, не претендуем на системно-организованное историографическое исследование с выделением этапов, национально-страновой нюансировкой и т. д. Во-вторых, не ставим цели создания «истории генералов» в том ироническом смысле, в каком писал Ю. Н. Тынянов в работе «О литературной эволюции»¹, впервые опубликованной в 1927 г., об изучении главных, но при этом отдельных явлений. Мы планируем предпринять скромную попытку концептуальной классификации различных вариантов историзма, не претендующую к тому же на исчерпывающий их охват. В основе историзма лежит представление о прошлом как «Другом», о связи между разновременными явлениями, щепетильное отношение ко времени как важнейшему индикатору социальных перемен. Маркер историзма – это акцентуация исторического опыта в самых разнообразных проявлениях, а также значимости прошлого, его воздействия на исторические маршруты, социальные институты, социальные роли.

Возможно ли гуманитарное исследование вне историзма, без опоры на историзм? Вероятно, возможно. В качестве примера можно привести эксперимент, который в 1975 г. предпринял французский писатель-авангардист Жорж Перек, решивший записывать все, что произойдет на парижской площади в течение трех октябрьских дней, – он наблюдал за жизнью площади Сен-Сюльпис каждый день по восемь часов. Итогом эксперимента стала небольшая книга «Полное изложение событий, случившихся в одном парижском местечке» (1975) объемом около 60 страниц. Целью автора было описывать не местные достопримечательности, а то, «что происходит, когда нет ничего, кроме течения времени, движения людей, машин и облаков». Ж. Перек сознательно элиминировал связность, контекст, преемственность, прошлое, фактически исключил «историзм». В итоге получился текст такого содержания:

«...Троих детей ведут в школу. Еще один автомобиль deux-chevaux ярко-зеленого цвета.

Голуби в очередной раз облетают площадь.

Проезжает автобус № 96, останавливается (со стороны церкви Сен-Сюльпис).

Женевьева Серро идет по рю де Канетт. Подзываю ее, барабана по стеклу окна кофейни, она входит, чтобы поздороваться.

Проезжает автобус № 70.

Замолкают церковные колокола.

Девочка доедает половину пирога.

Мужчина с черной сумкой и трубкой в зубах.

Проезжает автобус № 70.

Проезжает автобус № 63.

Сейчас 14:05...».

Конечно, это литературный эксперимент. В то же время это своеобразное исследование исторического фрагмента, лишенное, однако, исторической связности и смысла.

Какие же разновидности историзма можно выделить? Во-первых, это *онтологический историзм*. Имеется в виду общее воздействие предшествующих эпох и состояний на последующие (прошлого – на настоящее и будущее). В рамках данного варианта историзма существует *детерминистический историзм*, на котором базируется традиционное историческое мышление, согласно которому следующие одно за другим события образуют временной ряд, который не является простой совокупностью несвязанных событий, но обладает внутренней детерминацией. Традиционное историческое мышление как раз и основывается на предположении о существовании внутренних, или необходимых, связей между событиями во временном ряду, так что одно событие необходимо ведет к другому. Данный подход лежал в основе классических теорий социального развития: эволюционизма, марксизма, циклических теорий. В первой половине XX в. он подвергся интенсивной критике со стороны представителей методологического индивидуализма (Р. Арон, К. Р. Поппер, Ф.А. фон Хайек, Л. фон Мизес и др.), которые доказывали, что история – уникальный случайный процесс вследствие действия иррационально случайного человеческого фактора, что как целое, как единый процесс она необъяснима. «История, – писал Р. Арон, – непредсказуема, как человек для самого себя». Из подобных рассуждений следовало, что невозможен прогноз будущего на основании изучения опыта прошлых веков.

Однако «в действительности все не так, как на самом деле». Конечно, вряд ли сегодня возможна речь о жесткой детерминантности, о «железной» детерминации настоящего прошлым, но тяготение «рока» прошлого над моментом настоящего историки-исследователи всегда ощущают и замечают («тени забытых предков»). Созданное предшествующими поколениями наследие – технологии, материальные и институциональные инфраструктуры, геополитические и символические ландшафты и т. д. – несомненно устанавливает рамки для современной деятельности исторических персонажей.

Естественно, например, воздействие на динамику, темпы, да и сам характер исторического процесса цивилизационного, институционально-культурного

наследия, что улавливает институциональный (или неинституциональный) подход, в частности, концепция зависимости от предшествующего пути развития (Дуглас Норт, Пол Дэвид)². Однако это воздействие обычно не носит элементарного характера, оно не является детерминистическим, имеет вероятностную природу. Такой историзм можно охарактеризовать как *вероятностный онтологический*.

Важная составляющая онтологического историзма – институциональная, фундамент которой создается в разных цивилизационно-культурных контекстах. Цивилизации складывались исторически, под влиянием географических условий, в процессе ответов на вызовы экологической и общественной среды, в результате осуществленных когда-то ценностно-культурных выборов и т. д. Сформировавшиеся как преимущественно надстрановые культурно-исторические массивы, занимающие обычно большие территории, цивилизации в определенном смысле выступали в качестве стратегий выживания, самоорганизации человеческого времени-пространства. Фундаментальные базовые (матричные) структуры и ценности, выступающие в качестве каркаса, ядра цивилизаций, обнаруживают завидную «вневременную» устойчивость, накладывая отпечаток на цивилизационную динамику.

Принято считать, что в качестве таких глубинных структур выступают ментальные установки массового сознания: народный характер; модели взаимоотношений власти и общества; мотивационные механизмы; представления о жизни и смерти, о любви, о человеческом предназначении; природно-климатические условия и т. д. По существу, речь идет о месторазвитии цивилизации и о ее институциональной системе (причем, скорее о неформальной части последней).

Неформальные институты (культура, традиции, ценностные установки, стереотипы поведения) являются главной частью институциональной системы, напоминая невидимое основание айсберга. Они склонны к устойчивости, трансформируются очень медленно (путем инкрементальных изменений – «малых приращений»), сопротивляются резким изменениям, переносу чуждых институтов из других обществ или культур. Вследствие этого линия последующего развития всегда задана всей предшествующей институциональной историей общества. Современная институциональная теория объясняет эффект преемственности свойством возрастающей отдачи институтов (влияние института на общество возрастает прямо пропорционально длительности существования самого института и количеству людей, деятельность которых ему подчиняется) и сетевыми эффектами (скоординированной взаимосвязанностью существующих, устоявшихся институтов)³. Однажды выбранную институциональную траекторию трудно покинуть⁴, следствием чего становится разновекторность цивилизационных маршрутов развития. Каковы наиболее важные измерения неформальной институциональной системы, значимые для выбора цивилизационной траектории модернизации? Похоже, это:

1) степень отождествления с другими членами общества, т. е. радиус доверия или чувство общности; 2) степень ригидности системы морали; 3) стиль и методы отправления власти; 4) отношение к труду, новаторству, сбережениям, прибыли⁵. Как полагает известный американский социолог Л. Харрисон, указанные факторы «вытекают из общего мировоззрения и представления об обществе, из того, что социологи называют “когнитивной ориентацией” или “когнитивным представлением”. Эти представления формируются географическими и историческими факторами... Анализ этих четырех факторов поможет прояснить связь между ценностями и прогрессом»⁶.

Пример причудливого воздействия прошлого на последующее демонстрирует оригинальная концепция предпринимательства, предложенная американским исследователем Э. Хагеном. Данная концепция свидетельствует, что социальные трансформации прошлого, меняющие социальный статус человека, могут отозваться эхом через длительный интервал времени, вызывая к жизни вполне реальные социальные сдвиги модернизационного характера. Автор пытается объяснить ряд значимых модернизационных случаев, таких, например, как динамичное развитие Японии в XIX в. или Колумбии в начале XX в. В обоих случаях экономическое развитие, утверждал Э. Хаген, было обусловлено формированием прослойки предпринимателей, которая не возникает спонтанно, в момент появления спроса, как полагали авторы экономических теорий. Э. Хаген обратил внимание на непропорционально высокую долю среди предпринимателей Японии выходцев из класса самураев. Что же касается Колумбии, то в этой стране среди предпринимателей непропорционально высоким был удельный вес выходцев из провинции Антиокья. При этом Э. Хаген обратил внимание на наличие одной существенной общей черты, свойственной и самураям, и жителям провинции Антиокья: тех и других можно было считать деклассированными элементами. Самуран, несшие прежде службу у своих сеньоров, были лишены своего статуса и возможности выполнять прежние функции и обречены на социальный статус деклассированных элементов в результате политики централизации, которую с начала XVII в. проводили могущественные правители Японии (сёгуны) из дома Токугава (распад самурайского сословия особенно ускорился с середины XVIII в.). Жители же провинции Антиокья были потомками испанских колонистов, прибывших в XVII в. на поиски золота и серебра в Новую Гренаду. Но уже с середины XVII в. шахты, в которых добывались золото и серебро, начали постепенно утрачивать прежнюю рентабельность, вследствие чего жители Антиокья были обречены на процесс пролетаризации. Но именно из самураев в Японии в эпоху Мэйдзи стали формироваться деловые люди; аналогичным образом, когда в начале XX в. Колумбия вступила на путь индустриализации, жители Антиокья стали превращаться в предпринимателей. Опираясь на проведенный анализ индустриального развития Японии, Колумбии и ряда других стран, Э. Хаген пришел к выводу, что коллективное деклассирование

выступает в качестве одной из причин становления динамичной прослойки предпринимателей, поскольку подобные люди были якобы одержимы идеей возвращения своего утраченного статуса.

В рамках онтологического историзма можно рассуждать о зарождении, формировании «настоящего» (и «будущего») в «прошлом», об исторических факторах, причинах, предпосылках. При этом необходимо быть сдержанным, не преувеличивать порождающую силу историзма, поскольку генезис объекта еще не дает понимания самого объекта. Как остроумно заметил известный русский литературовед А. П. Скафтымов, «из желудя не поймем дуба, из динамо-машины и проводов не увидим электрического света, из органической химии не узнаем живых организмов, из знания нервных и мозговых процессов не получим живого душевного переживания, из условий наследственности, воспитания и среды не узнаем живого человека и его конкретности, – хотя между всем этим есть причинная связь»⁷. Данное рассуждение вполне применимо к историческим процессам, пронизанным, с одной стороны, преемственностью, с другой – знакомым с дискретностью. По нашему мнению, главное значение онтологического историзма состоит в демонстрации формата тех исторических «коридоров», которые структурируются прошлым.

Онтологический историзм также образует «теоретическую» базу социальной памяти, фундаментальную значимость которой подчеркивает оригинальный триллер Кристофера Нолана «Memento» («Помни», 2000). Заболевание, которым страдает главный герой фильма, – это крайне редкая форма расстройства памяти, при которой человек не способен запомнить ничего нового и хранит информацию только в кратковременной памяти – в зависимости от степени повреждения сегментов мозга от минуты до получаса (антероградная амнезия). В результате больной превращается «в десятиминутного человека», настоящее которого является просто вырванным эпизодом, без привязки к прошлому и каких-либо намеков на будущее. Такой человек «без будущего» легко становится объектом внешнего программирования со стороны желающих (манипуляторов), ведущих героя к трагической развязке. Если спроецировать данную ситуацию на общество в целом, хорошо понимаешь экзистенциальную значимость историзма, знания себя и своего места в мире.

Далее, можно выделить **методологический историзм**, историзм индивидуализации. С XVIII в. мыслители пытались решить противоречие, которое неизбежно возникало при изучении прошлого, – между наблюдаемым в истории ростом сложности, организованности, интеграции, адаптивности человеческих сообществ и уникальностью и неповторимостью исторических культур и эпох. Дж. Вико, написавший в 1725 г. «Основания новой науки об общей природе наций»⁸, ввел в научный дискурс историцистский принцип индивидуальности, согласно которому каждая культура и эпоха отличаются уникальностью и неповторимостью, новые формы жизни не хуже и не лучше прежних, они лишь отличаются друг от друга. В соответствии с этим Дж. Вико

отрицал существование абсолютных стандартов, критериев оценки, поскольку каждая эпоха обладает своей собственной формой выражения. Проблема соотношения между внутренними и внешними критериями оценки исторических эпох в полный рост ставится в творчестве И. Г. Гердера⁹, который считается основоположником историцизма. Как и для Дж. Вико, для Гердера исторические явления и эпохи являются уникальными и специфичными. Историцистский принцип индивидуализации, которого придерживается И. Г. Гердер, требует оценивания исторических периодов на основе внутренних, а не внешних критериев (т. е. историческое понимание должно базироваться на собственных предпосылках эпохи). В рамках подобной исследовательской программы важным становится проникновение в исторический контекст и исторические связи, в свете которых явление и получает свой конкретный исторический смысл.

Понятно, что принцип индивидуализации может входить в конфликт с идеей исторического прогресса и развития. Если исходить из признания того, что история имеет более глубокий смысл, движется к специфической цели, то трудно согласиться с тем, что любая историческая эпоха имеет собственную абсолютную самоценность. Если все эпохи развиваются в определенном направлении, движутся к некоторой общей цели, тогда естественно требуются внешние критерии для их оценивания. В этом случае историческая эпоха получает смысл именно в свете учета более общего контекста и общей цели. Проблема соотношения между историцизмом и прогрессивизмом так и не была решена в гердеровской философии истории, полной противоречивых утверждений и наблюдений (апология историцизма и использование в то же время нормативных категорий типа «период расцвета» и «период упадка», признание в поздних работах в качестве однозначной цели истории роста гуманности). В рамках подобной исследовательской программы важным становится проникновение в исторический контекст и исторические связи, в свете которых явление и получает свой конкретный исторический смысл. Но при этом на второй план отодвигается единство истории, эстафетность.

Следующий возможный вариант историцизма можно квалифицировать как *эстафетный*, подчеркивающий эстафетную связь между эпохами, которая обеспечивается специфическими социальными механизмами. Действительно, человеческая история регулируется особым видом механизмов, которым нет аналога в природе. Способность человека подражать, действовать по образцам обуславливает появление закономерностей, которые являются исключительной спецификой социальной реальности, отсутствующей в физической реальности. Данные закономерности можно было бы назвать, как ни оксюморонно это звучит, субъективными – субъективными регулятивами. Имеются в виду нормативы, возникающие субъективно в целях упорядочения социальной действительности путем организации определенных линий поведения и имеющие, соответственно, субъективную природу «Нормативное

предположение о некоторой линии поведения или норме с целью принятия после последующей дискуссии и решение о принятии этой линии поведения или нормы создают эту линию поведения или норму»,¹⁰ – пишет по этому поводу известный философ XX в. К. Р. Поппер. Это разнообразные, созданные человечеством, регулятивные системы: нормативные предписания, социальные стереотипные ценностные установки, традиции, обычаи, образцы производственной деятельности, образцы поведения, речи, мышления и т. д., которые также властно вмешиваются в ход социального процесса, дирижируя им, диктуя его конкретные шаги.

Импульс субъективной закономерности может задавать как вполне осознанное, планируемое, точно фиксируемое волеизъявление (например, в государственном законе, политике правительства), так и спонтанное, конвергентное, растянутое во времени рождение экземпляров поведения (например, традиция). Сфера и масштаб действия и последствий субъективных закономерностей могут быть различными. Одно дело – этикетная инструкция, определяющая правила поведения в быту. Ф. Бродель приводит в качестве примера указ по ландграфству Эльзасскому (1624), уточнявший для сведения молодых офицеров правила, которые должно соблюдать, когда они бывают приглашены к столу эрцгерцога: «являться чисто одетым, не приходить полупьяным, не пить после каждого куска, а перед тем, как пить, вытереть дочиста рот и усы, не облизывать пальцы, не плевать в свою тарелку, не сморкаться в скатерть, не пить слишком уж по-скотски...»¹¹ «Сфера компетенции» субъективных регулятивов, однако, не ограничивается лишь бытовым этикетом, но охватывает и производственную деятельность, и политическую активность, и творчество, и т. д.

Поскольку субъективные регулятивы по определению носят субъективный характер – они суть некоторые правила, которые должно соблюдать, но можно и нарушать. Как отмечает Д. В. Деопик, «...нормативные источники (законы, положения о званиях и прочее) ориентированы на должное, а не на существующее. Они всегда – обобщение, основывающееся как на обобщенном описании реальности, так и на плане ее систематизации в будущем с определенной целью. Оба обстоятельства приводят к несоответствию многих положений “нормы” (представленной соответствующим обобщающим источником) и “практики” (представленной текущей документацией)»¹². В связи с этим можно говорить о разных типах соотношения между нормативными системами и социальной реальностью. Возможно алегальное, нестандартное поведение. Возможны индивидуальные стереотипы, окказиональное, нестереотипное поведение.

Юридический норматив обыкновенно неполно отражает реальную социальную жизнь. Между нормой и реальной жизнью могут существовать довольно независимые отношения, если закон «не работает», если историческая практика обгоняет архаичные юридические устои. Так, на протяжении XVIII в. Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским выделяются три модуса взаимоотноше-

ний между юридической нормой (метатекстом) и бытовой реальностью (текстом): 1) система Петра I (повседневное течение жизни рассматривается как неправильное, ущербное; норма активно направлена в сферу практики, которую и должно переустроить в соответствии с этой нормой); 2) система Екатерины II (самостоятельное, независимое развитие сфер метатекста и текстов); 3) система Павла I (вновь сфера норм активно направлена на сферу практики; при этом последняя совершенно игнорируется)¹³.

Попытку схематизации в изучении субъективных закономерностей в свое время предпринял автор теории «нормативных систем и социальных эстафет», новосибирско-московский философ М. А. Розов. К основным положениям предложенной им теории относятся системы экземпляров поведения (образцы производственной деятельности, образцы поведения, речи, мышления) и механизмы экзemplификации (копирования, воспроизведения этих образцов). «Образец, – отмечает М. А. Розов, – это всегда нечто непосредственно данное, наблюдаемое, нечто такое, что можно продемонстрировать. Воспроизведение образцов, их “передача” от человека к человеку, от поколения к поколению и образует эстафету, в рамках которой предшествующие акты деятельности или поведения определяют, нормируют акты последующие. <...> Социальные эстафеты очень напоминают так называемые автоволны, т. е. волны в активных средах, в средах с распределенными запасами энергии. Автоволна – это самоподдерживающийся сигнал, распространяющийся как бы по эстафете и заново воспроизводящийся в каждой последующей точке среды. <...> Термин “эстафета” ориентирует на процессуальность, на воспроизведение некоторого состояния во времени. “Нормативная система” – это, наоборот, фиксация статике, фиксация синхронного среза». Под нормативными системами, таким образом, М. А. Розов понимает нечто гораздо большее, нежели мы под рассмотренными выше субъективными регулятивами: любая акция человека в обществе выступает как актуальный или потенциальный образец, как норматив, который может порождать или порождает последующие реализации. Существенный момент теории – механизм трансляции, распространения нормативов, который имеет подобие волны и связан со способностью человека действовать по образцам¹⁴.

Как объективные, так и субъективные регулятивы выполняют во многом схожие функции. Во-первых, это поддержание социального гомеостазиса (объективные регулятивы), социальной упорядоченности (субъективные регулятивы). Во-вторых, обеспечение трансформаций, социальных переходов, изменений. Механизмы же функционирования рассматриваемых регулятивов носят различный характер. Если первые действуют структурно и кумулятивно (переход количества в качество), то вторые функционируют эстафетно, коммуникативно.

Лингвистическую аналогию этим двум видам общественных регулятивов в свое время предложила известный российский филолог, профессор Новосибирского университета, сотрудник Института филологии СО РАН

М. И. Черемисина, указавшая на наличие особого рода регулятивов в сфере языка. Язык, по ее мнению, регулируется механизмами двух типов: законами и правилами¹⁵. Соотношение между законами и правилами в языкознании выглядит следующим образом: 1) законы объективны, неконвенциальны, т. е. не зависят от воли индивида или общества; правила субъективны, зависят от установки (воли) общества; 2) законы ненарушимы: носители языка подчиняются им бессознательно; правила не должны, но могут нарушаться и нарушаются носителями языка; 3) служба слежения за выполнением языковых законов – нелепость; служба слежения за выполнением правил языка необходима и существует во всех обществах; 4) законы подлежат открытию в теоретическом языкознании (пока не познаны – они «вещь в себе»); правила подлежат формулированию и внедрению в практику.

Следующий вид историзма можно определить как *антропологический*. Исторический процесс конструируется действиями людей, постоянно вступающих во взаимодействия. В связи с этим представляется в целом плодотворным теоретический подход, акцентирующий взаимодействие между индивидами, трактующий творение истории как реализацию индивидуальных стратегий взаимодействующих персонажей. Подобный подход присутствует во многих работах, выполненных в рамках современной исторической антропологии, микроистории, истории повседневности, так называемой исторической социологии (Ч. Тилли, Т. Скокпол, М. Манн и др.).

Признавая огромную значимость «человеческого фактора» в истории, не следует, однако, его абсолютизировать; необходимо помнить, что результирующая реальной истории обыкновенно заметно отличается от того, что планировали участвовавшие в ней субъекты (согласно цитате из песни, принадлежащей Джону Леннону, «жизнь – это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно строишь другие планы» («Life is what happens to you while you're busy making other plans»). Нельзя абстрагироваться до индивидов – свободных и мыслящих, – рассуждая о ходе истории, поскольку история себя проявляет и в этом случае.

Адекватно оценить «антропогенный потенциал» истории позволяет современная структурационная теория, *структурационный историзм*, который ориентирует исследователей на анализ взаимодействий между унаследованными социальными структурами (экономическими, социальными, политическими, институциональными, культурными, ментальными и т. д.) и действиями исторических субъектов, наделенных волей и свободой выбора. Сторонники структурационного подхода, таким образом, стремятся оценить вклад в конструирование исторического процесса как структур, так и социальных действий, гармонизировать взаимодействие этих фундаментальных социальных факторов, замкнув их в своего рода логическом цикле структуризации.

Структурационный подход (само понятие *структуризация* получило широкое признание благодаря работам Э. Гидденса¹⁶), в рамках которых делаются

попытки совместить структуралистский и деятельностный подходы (structure and agency), включает на сегодня широкий спектр социологических теорий: У. Бакли, А. Этциони, А. Турена, М. Арчер, Э. Гидденса, П. Штомпки. По мнению П. Штомпки, автора родственного подхода можно описать посредством шести онтологических характеристик: 1) общество процессуально и постоянно подвержено изменениям; 2) изменения носят эндогенный характер и приобретают форму самотрансформации; 3) индивиды и социальные коллективы являются конечными двигателями изменений; 4) направление, цели и темпы изменений выступают результирующей конкуренции между различными деятелями (акторами) и становятся областью конфликтов и противоборства; 5) действие осуществляется в контексте данных структур, которые оно, в свою очередь, трансформирует, вследствие чего структуры выступают в качестве и условия, и результата; 6) взаимодействие между деятельностью и структурами происходит благодаря смене фаз творчества деятелей и структурной детерминации¹⁷.

Структурационная теория позволяет анализировать взаимодействия между изменениями, которые локализуются на разных общественных уровнях. В основе данного подхода лежат убеждение, что общественный мир – не некое постоянное и неизменное статическое состояние, а, скорее, непрерывный динамический процесс; общество не существует, а формируется, происходит, при этом оно складывается скорее из событий, нежели из объектов. Социальные изменения рассматриваются как кумулятивный результат, как некая «равнодействующая» многих процессов, представляют собой слияние множественных процессов с различными векторами, частично перекрещивающимися, частично сближающимися и частично расходящимися, поддерживающими или уничтожающими друг друга. Общество, подвергающееся изменениям, не воспринимается как сущность, объект или как застывшая система, а представляет собой сеть отношений, пронизанную напряжением и гармонией, конфликтами и сплоченностью. Структурационный подход позволяет включить в орбиту внимания как субъективный, человеческий фактор (ведь люди в конце концов создают свое общество и историю), так и надындивидуальный, структурный, объективный контекст, они ограничивают произвол действующих в истории персонажей, устанавливают определенные рамки (структурные условия, унаследованные от прошлого), которые люди усиливают или модифицируют своими действиями и в новом виде передают своим наследникам. Представление о диалектике структур и действий (действия людей частично детерминированы прежними структурами, в то время как будущие структуры частично детерминированы нынешними действиями субъектов) позволяет объяснять взаимодействия между общественными процессами разных уровней, в том числе макро- и микро-процессами.

Таким образом, исторические агенты могут внести много нового в унаследованное состояние, его модифицировать, трансформировать, но, тем не менее, вероятностное давление прошлого на последующее развитие будет несомненным, причем оно будет накладывать отпечаток и проявляться и через персональную деятельность, поскольку историю делают люди, но не абстрактные люди («человек экономический», «человек рациональный»), а «отягощенные» собственным индивидуальным историческим опытом, который влияет на их мировосприятие, поведенческие установки, жизненные стратегии.

Наконец, можно выделить *эпистемологический историзм*, суть которого раскрывается ссылкой на концепцию, сформулированную великим немецким географом – Карлом Риттером (1779–1859), который считается основоположником географии современного типа. Риттер базировал свою концепцию на балансе единства и разнообразия. Его цель состояла не только в перечислении предметов и явлений внутри сегментов земной поверхности; он главным образом стремился понять взаимоотношения, причинные взаимосвязи, которые и скрепляют территориальную целостность. Вновь и вновь он употребляет немецкое слово *Zusammenhang* (связь, связность), придавая ему смысл качественной характеристики свойства сцепления различных объектов друг с другом. Это понятие оказывается очень современным в гуманитарном познании нашего времени. Оно позволяет, обращаясь к исторической конкретике, открывать сетевые эффекты (модификации, мутации, трансформации существующих форм как результат их сосуществования и взаимодействия).

Примечания

¹ См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 270–281.

² См.: Дэвид П. Клио и экономическая теория QWERTY // Истоки : из опыта изучения экономики как структуры и процесса. М., 2007. С. 139–150 ; *Его же*. Зависимость от пути развития и исторические общественные науки : вводная лекция // Там же. С. 183–207 ; Нуреев Р., Латов Ю. Что такое зависимость от предшествующего развития и как ее изучают российские экономисты // Там же. С. 228–256.

³ См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.

⁴ См.: Дэвид П. Клио и экономическая теория QWERTY ; Дэвид П. Зависимость от пути развития и исторические общественные науки.

⁵ См.: Харрисон Л. Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике. М., 2008.

⁶ Там же. С. 19.

⁷ Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М., 2007. С. 23.

⁸ Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М. ; Киев, 1994.

⁹ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

¹⁰ Поппер К. Р. Логика и рост научного знания : избранные работы. М., 1983. С. 399.

¹¹ Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. М., 1986. Т. I. С. 224.

¹² Деоник Д. В. Типы социальной терминологии кхмеров (VI–XIII вв.) // Проблемы типологии в этнографии. М., 1979. С. 105. В философском плане асимметрию нормативов и фактов рассматривает К. Р. Поппер (Поппер К. Р. Указ. соч. С. 398–413).

¹³ См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. К семиотической типологии русской культуры XVIII в. // *Художественная культура XVIII в. : материалы науч. конф. (1973 г.)*. М., 1974. С. 266–272.

¹⁴ Розов М. А. Методологические особенности гуманитарного познания // *Проблемы гуманитарного познания*. Новосибирск, 1986. С. 33–54.

¹⁵ См.: Черемисина М. И. Законы и правила в языкознании // *Методологические и философские проблемы языкознания и литературы*. Новосибирск, 1984. С. 9–21.

¹⁶ См.: Гидденс Э. Элементы теории структуризации // *Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас*. Новосибирск, 1995. С. 40–70 ; *Его же*. Устроение общества : очерки теории структуризации. М., 2003. См. также: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.

¹⁷ См.: Штомпка П. Указ. соч. С. 254.

Е. К. Созина

Екатеринбург

«ОТ ПОРЯДКА К ИСТОРИИ»: ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЙ*

История и литература могут рассматриваться по-разному: как типы дискурсов, виды текстов и нарративов, типы творческой деятельности человека и его памяти. Контакт, взаимопритяжение и отталкивание этих «превращенных» форм сознания проходит через весь XX век, будучи, по-видимому, стимулирован «кризисом историцизма», ознаменовавшим финал классического XIX столетия. «Историю исследует тот, кто ее творит»¹, – это заявление В. Дильтея можно считать провокационным контрапунктом, рождающим новое – активно созидательное и нарративистское – отношение к истории, принятое XX веком. Искусство и миф становятся ведущими источниками и способами познания истории и жизни, оформляется многоступенчатая процедура интерпретации как опосредующей факт и его понимание – все эти «открытия» начала XX столетия и сегодня вполне актуальны для многих гуманитарных наук.

Одной из важнейших сфер взаимодействия, своего рода зоной общих поисков истории и литературы может считаться – осмелюсь на тавтологию – история литературы. Здесь наши науки и наши исследовательские рефлексии поневоле объединяются, о чем говорит само наименование этой дисциплины, по определению помещающейся между историей и литературой. Кризис истории литературы как методологический феномен возник еще в позднесоветское время, в постсоветский период он развивался далее, и вряд ли можно

* Статья написана в рамках интеграционного проекта УрО – СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования».

© Созина Е. К., 2013